

Содержание

Пролог

5

Часть первая Тоннели Чинба

23

Часть вторая Набат Чинца

111

Часть третья Время Ичима

205

Пролог

Послушайте-ка меня. Иданна знает, что́ говорит. Иданна кое-что слышала. И пусть ныне она полуглуха и выглядит помешанной, это не так уж много значит. Есть вещи поважнее. Повторю: Иданна кое-что слыхала. Нет, она не всегда была тугой на ухо. Да и сейчас все не так плачевно, как некоторые хотели бы представить. Иданна знает, как все начиналось. Иданна — последняя из тех, кто может рассказать. Иданна кое-что знает. Кое-что она успела увидеть сама, но многое передали ей родители, а уж им можно верить. Их племя создало все, что есть у нас сейчас. Только благодаря их стараниям мы остались живы. Только благодаря им. Все, что у нас есть, — пещеры, перезвоны, пламень, — все это создали они. Вы знаете это. Но вам кажется, что времена изменились. Вам кажется, что настала пора забыть. Вы смотрите на солнце и думаете, что теперь все уже не так. Вы горды и считаете, что и вы чего-то стоите. Вам кажется, что вас недооценили, что вы способны на большее, чем внимать вышедшим из моды предписаниям. Вы думаете, что бормотания старухи — это пустые страхи, что древние легенды утратили былую силу. Так вот что Иданна вам на это скажет. Послушайте ее. Нет, Иданна больше не станет воспитывать вас, не станет наставлять на путь истинный. Хватит. Иданна не станет и заступаться за легенды, они нисколько не нуждаются в ее защите. Поверьте, легенды устоят, даже если вы повернетесь к ним спиной, даже если навсегда покинете эти края. Легенды останутся впечатанными в землю, их можно будет вы́читать из выбоин в растрескавшейся глине. Они запутаны в травах, они переливаются в каждой озерной капле. Они повсюду. Они вечны. Ярданги продолжают вышептывать их. Поймите

наконец: легенды не зависят от вас. Вы сгинете, а они выстоят. Иданна не станет пересказывать их, да и вы, похоже, не слишком-то жаждете услышать повторение историй. Так или не так? Вы скажете, что слишком взрослые для сказок. Скажете, что знаете все это наизусть. Вам кажется, что вы давным-давно разгадали эти тайны. Вы уверены, что никаких тайн давно нет. Вы думаете, что все эти рассказы — лишь вымысел старух. Известное упрямство. Вы все еще путаете перерисовывание и возрождение. Вы все еще не поняли, что легенды существовали задолго до раздела мира на правду и вымысел. Иданна не собирается вас винить. Она знает, что это только ее вина, а не ваша. Она это знает. Но Иданне известно и другое: перестав верить в легенды, вы не избавитесь от них. К счастью, уже слишком поздно. Самое главное Иданна сделать успела. Хотели вы этого или нет, Иданна вытатуировала ваши души преданиями, точь-в-точь как когда-то родители накололи эти узоры на ее сердце. Эти нити вплетены в вашу кожу, эти чернила успели раствориться в крови, стать вами. Да, Иданна сделала то, что должна была. Иданна выполнила свой зарок. Можете ненавидеть ее, можете превозносить, самого главного это все равно не изменит. Растрескавшаяся глина — это ваша кожа, густые травы — ваши волосы, а озерные капли — ваши слезы. Вы можете вырвать волосы и даже содрать с себя кожу, но вы никогда не избавитесь от слез, даже если будете сдерживать их. Ибо и выплакать их полностью вы никогда не сможете. Слезы останутся с вами, навсегда сохранятся в глубине ваших глазниц. Как исток неиссякаемого родника. Пусть вам врут, что мозг Иданны рассыпается. Пусть наговаривают, пусть клеветают, пусть посмеиваются. Их зловонные рты могут плести эту паутину сколько угодно. Как будто Иданна хуже них знает, что творится с ее мозгом. Что они о себе возомнили? Посмотрим, что будет с ними, когда им исполнится столько

же лет, сколько Иданне. Если они доживут. Едва ли они доживут. А если решатся, для этого им потребуются особые силы. Те, что можно зачерпнуть только в легендах. Разум Иданны — это сияние истории. Он потешается над разумностью. Он мерцает судьбой. Он многолик. Так вот что Иданна вам скажет. Вернее, вот что Иданна вам пообещает. Вот что. Знайте: они вернутся. Вот еще один зарок Иданны. Может быть, последний и самый важный. Эолы скоро вернутся. Поначалу их тоже не было слышно годами. Нужно было выждать, нужно было усыпить бдительность. Но эолы нападают без предупреждения. Эолы всегда нападали без предупреждения. Родители это помнили. Родители выжили благодаря этому знанию. Раньше эолы тоже исчезали надолго и выжидали, они уже не раз обманывали нас. И если сейчас они пропали на долгие годы, так что даже успели родиться те, кто ни разу не видел их, это может означать только одно: эолы затаились, они прячутся за обветренными спинами ярдангов, чтобы наконец уничтожить нас, чтобы снять небывалый урожай. И им безразлично, что эта жатва может оказаться последней. Эолы не строят планов, они руководствуются только беспощадностью и голодом. Иданна может и не дожить до этого злого дня, да ей уже и нечего бояться, она застала бестрашие Чинба, а вот вы-то молоды, и вы с ними еще обязательно встретитесь. Эолы надеются, что вскормят вашу безграничную беспечность, которая в конце концов утолит их терпеливый голод. Ростки поднимаются, чтобы быть срезанными. Эолы видят, что выросло новое племя, которое почти не верит в опасность. Эолы постятся, эолы ждут подходящего момента, чтобы не церемониться. И он почти настал. В отличие от вас эолы умеют ждать. Они терпеливы, как клещи. Они будут ждать столько, сколько потребуется. Они сильны. У эолов есть чему поучиться. Вы соберетесь, вы отправитесь в путь, может быть, вам даже

дозволят отойти на расстояние, которое представится безопасным. Чтобы усыпить вашу и без того сонную бдительность. Может быть, вам даже разрешат увидеть земли, которые захочется назвать обетованными. Эолы умеют строить пышные декорации. Эолы умеют искушать. И когда вы протянете руки, чтобы сорвать цветы, которые прежде знали только по старым, выцветшим рисункам, только по пересказам, только по мечтам, — так вот, когда вы протянете руки, клещ спрыгнет с травинки, и тут же все исчезнет, вы рассыплетесь, как сухой нектар, точь-в-точь как столетиями рассеивались до вас другие беспечные и нечуткие. Цветок выпадет из рук, ставших пустотой. И все, что от вас останется, — это легенды, которым вы якобы перестали верить. Только легенды не предадут вас. Только они сохранят память и надежду. Только они.

II Ярданги

Окаменевшие, растрескавшиеся насыпи были разбросаны по степи, как полуразрушенные обелиски на древнем, исчезающем кладбище. Когда-то трава не решалась подступаться к ним, но теперь низенькая, словно остриженная кривой косой зелень, прорастая сквозь россыпи высохшей глины, все увереннее покрывала рыжеватые пористые основания и, кто бы мог подумать, забиралась все выше. Тут же рядом держались сухие стебли и листья, он любил сжимать их пальцами и вслушиваться в жесткий хруст, особенно в треск тонких розоватых веточек, оставшихся от прошлогодних качимов. Как и шорох песка, пересыпаемого из одной ладони в другую, эта шершавая музыка говорила ему что-то, чего не слышали другие, выборматывала неизвестно что, сливаясь с неприметным рокотом, исходившим от земли. Может быть, растения пытались передать истинные, никем не искаженные заветы мертвых предков. Словно эти песчаные памятники и были когда-то возведены в зыбкую память о больше не существующих людях. Казалось, что если как следует всмотреться, то в узорах трещин можно даже разглядеть геральдические знаки, выгравированные имена или, по крайней мере, отдельные буквы. С этой памятью тоже что-то было не так, ведь ваятелями кособоких надгробий стали именно те, кто мечтал убить похороненных под ними. Да, какой-то странный, неразгаданный обычай или приговор велел им чтить память своих врагов. Так вот, эти легенды пересказывались песком и растениями — едва слышно, всегда какими-то обрывками, с бесконечными повторениями одних и тех же эпизодов, но при этом с неприметными отличиями и небольшими разночтениями, то вносившими в повествование

путаницу, то, наоборот, облегчавшими понимание. Так или иначе, приходилось раз за разом вслушиваться в трескучие переливы, чтобы уловить связи между преданиями. Порой ветхие наверхия обелисков осыпались с глухим, рыхлым шумом, словно добавляя свое веское слово к вышептанным притчам, и форма ярданга становилась еще более причудливой, напоминая уже не угрюмые обелиски, а изваяния мифических птиц, способных в любую минуту вырваться из песчаного плена, расправить крылья и навсегда покинуть эти проклятые места. Медно-рыжие, ветхие птицы, взмывающие над синевой травь, — ничто не мешает вообразить их. Впрочем, нет, никуда бы они не улетели, а лишь вскорости распались бы на трепещущие песчинки, прямо в полете, смешавшись с пыльным туманом, в лучшем случае остались бы невидимыми небесными стражами, устало кружащими над бесцветным, удивительно однообразным, но все же несравненно прекрасным пейзажем — бесконечной равниной, уже не перебиваемой даже остовами карликовых гор. Да, теперь этих насыпей становилось все меньше, они оседали в землю, расточались на осколки, постепенно сдавались траве и насекомым, пересыпались из ладони в ладонь. Муравьи и жуки находили себе жилища в этих разветвлявшихся расщелинах, точь-в-точь как люди под сводами пещер. Суетливые существа, занятые своей едва слышной жизнью, — он любил наблюдать и за ними. Их шуршания таили настоящие открытия: например, еще в детстве он выяснил, что перелетавшие с места на место и переносившие какие-то небольшие трофеи пчелы закапывали свою добычу прямо в землю. Более того, их тоннель, судя по всему, уходил очень глубоко вниз: подлетая к потайному лазу, пчелы сперва оглядывались по сторонам и, скрываясь от невнятного преследования, с еле слышным, опрометчивым жужжанием исчезали в невидимом земляном дупле.

Переселившись в подземные гроты людям такое поведение показалось бы очень знакомым.

Еще ему нравилось смотреть, как первые отсветы отражаются в замутненной туманом воде, на все эти перемещающиеся вдаль огоньки, ведь свет, как и насекомые, был здесь немногим, что двигалось. Рассвет почти никогда полностью не высветлял блеклого неба, а лишь немного разбавлял сумрачные тона, как светлая краска, смешиваясь с мутной водой, не делает ее прозрачнее, а затуманивает еще сильнее. Свет еле пробивался сквозь облака, но ближе к полудню лучам все-таки удавалось прорывать в серой вате небольшие бреши, и поверхность Нрику покрывалась переливающимися пятнами. А поскольку солнце никак иначе не проявляло себя в серо-синем (если принять этот почти наугад выбранный оттенок, ведь с равным успехом можно было бы сказать — в сизо-желтом) пейзаже, со стороны могло показаться, что тычинки света возникают не сверху, а проклевываются из-под ровности озерной воды, как будто кто-то бродит с факелом по дну, пытаясь отыскать выход. Может быть, один из утопших рыбаков. Вода слишком мглистая, и снизу толком не разглядишь, где начинается столь же бесцветное небо. Да, так он фантазировал в детстве, а теперь уже не мог отвязаться от той старой выдумки, по привычке поворачивал образ разными сторонами, словно намереваясь разглядеть что-то не совсем знакомое. Пожалуй, это даже удавалось, иначе зачем еще могло быть нужно такое упорство. Или силуэт утопленника тоже был одной из легенд, пересказанных гулом природы. Или это он сам сидел не в степи, а на дне гигантского озера.

Странное чувство: иногда хотелось ощутить какое-то резкое движение, дернуться всем телом, может быть, двинуться куда-то, но в ту же секунду ноги окаменевали, и он был не в силах даже повернуть голову, не то что встать, тем более сделать несколько шагов.

Сухая травинка, еще минуту назад распростертая на расстоянии одного шага, теперь отдалялась куда-то в соседнюю галактику. Казалось, что, если он все же решится поднять руку, она так и повиснет в воздухе, как в воде, мгновенно исчерпав ложный импульс к движению. И потому не оставалось ничего, кроме как дальше вглядываться в степные цветы и кустарники и еще несколько невысоких деревьев, каким-то чудом выживших после всего случившегося с этой землей. После всего того, что уже плохо помнили или просто не хотели вспоминать люди. А растения несколько не изменились с тех пор, как он смотрел на них в детстве, сохранили даже наклон стеблей и стволов, должно быть, почти такими же они были и в те времена, когда на них смотрел его прадед, словно природе было важнее, чем людям, сберечь воспоминания о прошлой жизни.

По утрам здесь было зябко и приходилось кутаться в старую накидку. Ночной туман скапливался в росу и повисал на травинках грузными, слегка подмороженными, словно обтянутыми тонкой пленкой каплями. Казалось, что сияющие поутру крупинки могли свешиваться так целую вечность, ведь ничто в стоячем воздухе этому не препятствовало. Изредка он раскачивал травинки и даже украдкой дул на них, и тогда эти прозрачные зернышки падали, разбивались на множество осколков и исчезали, чтобы завтра испариться новым туманом. Иные срывались без всякой помощи, решительно смывая налет желтой пыли и оставляя на продолговатых листьях похожие на тонкую лыжню следы. Пока осколки сползали, он успевал заметить, как, совершая свой последний путь, роса пропитывается серой взвесью, которой здесь, словно пеплом исчезнувших людей, было покрыто все. Но нет, так было раньше, а с некоторых пор полосы от срывавшихся вниз капель перестали мгновенно зарастать новым прахом. Кто-то менее молчаливый

и более целеустремленный наверняка сказал бы, что когда-нибудь она непременно будет смыта полностью. А он просто смотрел на эти оставленные росой рубцы. Стрекот цикад перебивался редкими паузами, но, пропадая с одной стороны, он всегда продолжался с противоположной.

Видите силуэт? Это Ичим сидит там вдали, прямо на земле. Ему двадцать три, и у него неважные отношения с отцом. Да, в наших краях родители с детьми не всегда ладят. Говорят, так бывало и раньше. Ничего не поделаешь. Яв (так зовут отца) считает, что сын пока еще не обрел сознательность, что он тратит жизнь впустую, что он беспечен и живет одним днем, что, если так будет продолжаться, из него получится никудышный воин, пусть воевать больше и не с кем, да и само употребление слова «воин» давно вызывает вопросы. А Ичим, он так упрям, что даже не вступает в пререкания, не возражает против этих мало на чем основанных, по большому счету ошибочных, но вполне привычных обвинений. Конечно, ему не кажутся сколько-нибудь точными слова «впустую» и тем более «воин» (как и многие другие), но он знает, что, если начнет спорить, Яв все равно будет слышать лишь себя. Ведь он по-настоящему внимателен только к своим речам и к их эху. А когда у него заканчиваются аргументы, Яв начинает кричать. Но это не значит, что он бессердечен. Нет, просто его чувства проявляются только так, превращаясь в россыпь банальностей или выплескиваясь в неуправляемый гнев. Увы, тут ничего не изменишь. К тому же Яв стремительно стареет, и оттого его крик выглядит не гневным, а болезненным, он похож на последний (и негодный) крюк, которым обреченный пытается зацепиться за уносящийся прочь мир. Детям часто кажется, что, когда они сами станут родителями, все будет иначе и они без труда смогут избежать повторения столь нелепых ошибок. Но люди куда больше похожи на деревья, чем принято думать. Они чуточку перемещаются с места на место, лишь если их валит ветер. Движение им только

мерещится. Но не стоит спешить с сетованиями по поводу этой укорененности. Ичим тоже не считает ее проклятием. Почему? Нет, не буду торопиться с объяснениями. Это как поспешить с ответом на вопрос, о чем ты сейчас думаешь. В такой момент мысль — как правило, и так не до конца отчетливая — всегда норовит ускользнуть именно из-за бесцеремонности спрашивающего.

Мы часто встречаем здесь рассвет. Солнца почти никогда не видно, и в здешних краях мы говорим «рассвет», а не «восход». Так определенно точнее. Даже к нашей весне всегда примешана осень, а лучше сказать еще категоричнее: весна здесь знаменует начало осени. Лучи рассеяны в тумане и песчаном прахе, свет цедится не из одной точки, а отовсюду, словно через невидимые бесконечные трещины. Ведь правда, это никак не похоже на восход? Я точно не знаю. Но свет скорее опадает, чем всходит. Так иногда осыпаются на голову воспоминания — кажется, все искажено, забыто, наглухо заперто, но вдруг они почти без предупреждения дают о себе знать в распыленном, притягательном тумане. Не во вспышке, как иногда хочется думать, скорее — в постепенно расстилающейся мгле. Но я не стану рассказывать о себе и своих воспоминаниях. Нет. Здесь нечто заполняющее все пространство, но не оставляющее ясных следов, нечто невыговариваемое. Касающееся (в буквальном смысле) всех, а не одного. Безмолвная выбоина, вдруг разрастающаяся до оврага. Облака обычно рассеиваются только к вечеру, когда на небе появляется луна. Как средство замутнения туман уже становится не нужен, настолько тшедушен ее свет. Все само собой тонет в синеватом маре. Вот так они сменяют друг друга — тусклый луч в темноте и клубящийся туман. Да, здесь нет солнца, но есть луна, и это дано без объяснений. С этим нужно смириться, как и со многим другим. Или не смиряться — все равно. Просто блуждать, всматриваясь

в переплетенные стебли и листья — в сухую траву, смешанную с молодыми ростками. В джунгли, прячущие мышей и змей, жаворонков и ящериц. Здесь со мной говорит мир. Деревьями, птицами, полусветом. И этого вполне достаточно для беспредельности.

Далеко в глубине степи все время слышится какой-то тихий грустный звук, он напоминает далекий шум моря. Монотонный, околдовывающий перегуд, который, я уверена, становится немного громче с каждым днем. Или вовсе не меняется, просто я зачем-то придумываю это усиление. А может быть, вчерашний шум немного накладывается в моей голове на тот, что я слышу сегодня, и оттого день за днем — это не приметное изменение. Если такое бывает. Почему бы и нет? Возможно, и память работает так — полустертые (и оттого пугающие) события укрывают друг друга, как хлопья снега, а потом скоростистая метель перемешивает их, они взвиваются и снова снижаются, лишь иногда тают навсегда, чаще же хоронятся под покровом новых слоев, леденеют. Так слепой шевелит руками, разглаживая пепельные складки воздуха, не решаясь их отпустить. Я говорю о звоне, о беспроглядности, об обмороке.

И вот уже рассвет белеется в серебряной пустоте. Бледные сполохи на бледном лилово-сером небе, которое перед самым закатом станет (если дать волю фантазии, а это имеет смысл делать в здешних краях) почти похоже на лепестки бугенвиллеи. Тут же — последние мерцания растаявшей или, вернее, укрытой другими слоями полусвета луны. Обычно мы сидим так вдвоем на охолодевшей за ночь траве, окунаясь в меланхоличные, неуловимые шорохи, просто сегодня я немного опоздала и решила понаблюдать за Ичи-мом со стороны. Ему нравится, когда вещи или растения касаются глаз. Когда их касается пустота пейзажа. Кстати, он считает неточным и слово «смотреть», поскольку уверен, что здесь первый ход делает не он,

а окружающая природа, былинки и камни. А я люблю, когда моих глаз касается его силуэт. Но вот, кажется, он заметил меня. Или услышал хруст сухой травы.

Я? Ах да. Меня зовут Ютеолла. Но, как условились, я не буду рассказывать о себе. Хотя, наверное, так не получится. Тогда, может быть, только чуть-чуть, несколько слов. Простите, что я так бесцеремонно, во все глаза смотрю на вас. Но, может быть, так вы что-то и узнаете про меня. Буду откровенна: я влюблена в Ичима, поэтому, говоря, то и дело поворачиваю голову в его сторону. Я знаю, это мешает слушать и, может быть, даже делает неразборчивыми отдельные слова, так что заранее винюсь. Но мне так нравится сидеть там, рядом с ним. Возможно, иногда мы думаем о разных вещах, но нашим мыслям удается переплетаться в воздухе, даже когда мы не пытаемся превратить их в речь. Это странно, что два дерева могут вырасти рядом и соприкасаться ветвями. Жаль только, что ветер не всегда роняет их в один и тот же день. Впрочем, в наших краях деревья знавали всякое. Да тут ведь почти не встретишь даже полуголых стволов, вы это и без меня знаете. Я понимаю, что метафоры могли бы быть более удачными, и заранее смеюсь над собой. Но не обманывайтесь радостно-хитрым блеском моих глаз — это слезы затаились за зрачками, так что простите, если вдруг они хлынут как раз в тот момент, когда я примусь рассказывать что-то веселое. Да, особенной потехи ждать не стоит. По правде говоря, ничего, кроме намеков, на нее ожидать не стоит. Хотя намек — не так уж мало, кто знает. Почему-то счастья всегда страшатся, негласно принято считать, что оно не дозволено, что оно прервется, если о нем задуматься. Да, здесь навсегда притаился страх, заготовленное чувство утраты, переживаемое заранее, словно к нему можно подготовиться. Но, может быть, как раз из-за этого страха людям привычнее быть несчастными? И оттого счастье проходит мимо. Говорят,

так бывало и раньше. У нас это, увы, тоже случается. Зачастую у меня не получается утешить Ичима, когда ему тягостно, и я не могу объяснить почему. Знаю, что ему станет легче, если обниму, но почему-то не чувствую внутренней потребности жалеть его и осознаю, что объятия будут невозможной фальшью, способной ранить еще сильнее (когда — в такие разделенные минуты — пробовала обнять, между нами как раз и пробегала эта трещина холода). Или, наоборот, — тем, что не могу обманывать и говорю как есть, причиняю еще больше боли? Ичим говорит, что не хотел бы, чтобы я лгала. А я часто думаю, что ему самому нравится вживаться в амплуа затравленного изгоя. Хотя, по правде говоря, его жизнь далека от этой выдуманной роли. Когда на него обрушивается тоска, мне приходит в голову мысль, что мужчины слабее женщин, что только женщины по-настоящему способны взять себя в руки и ни на что не жаловаться. И мы оказываемся на нехорошей развилке. Кажется, заболеет он, и я совсем перестану отвечать жалостью на жалость, хуже того — не смогу остановить его, даже если решит покончить с собой, хотя сложно представить, как я смогу это пережить. Словно он нужен мне только сильным и неунывающим, а главное — не втягивающим меня в свою боль, но ведь это не так. Или отчасти так? Означает ли это, что я чем-то похожа на Ява? Означает ли это, что счастье нам недоступно? Или что о счастье можно думать только как о чем-то недостижимом? Да, мы тоже одержимы этим изнуряющим страхом. Но это не значит, что смех совсем не заглядывает в наши края. Наверное, иные люди не прекратят шутить, даже если их подвешат над пропастью. Я вроде бы не над пропастью, но тоже люблю шутить, на свой лад (кстати, это очень смешное выражение), если, конечно, «смешное» и «шутить» — верные определения. Если, конечно, вообще существуют верные определения (хотя я думаю, что иногда они

могут рождаться, и в этом-то вся и проблема). Но ведь счастье и смех — это не одно и то же. Хотя, пожалуй, они как-то связаны. Стоило бы разобраться с этой связью, но сейчас я не стану этого делать. Скорее всего, я никогда не стану этого делать.

Зато я точно знаю, что люблю запахи степных цветов, вдыхаю их вместе с приглушенными звуками. Этот горьковатый степной привкус, густой травяной настой, мелкая пыльца, замешенная прямо в воздухе. Люблю, когда все это продолжает колыхаться и затихать внутри моего тела. Яв говорит, что призвание жизни — борьба. Найд говорит, что она — странствие. Ичим любит молчать на краю степной пустоты, но не называет это миссией или судьбой. А я люблю молчать вместе с ним. Все-таки немного рассказала про себя, вопреки обещанию. Нет, я не хочу страшиться счастья. Считайте это клятвой.